

Александр ПЕТРОВ

## МЁРТВЫЙ УЖИН

*Повесть*

Я смотрел, как пламя свечи перебрасывается на мятый листочек бумаги. Перед тем, как письмо сгорело, я ещё раз посмотрел на последние слова:

*ВСПОМИНАЙТЕ СЕБЯ, УЖИН. ВСПОМИНАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ. НАЧНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВСПОМИНАЙТЕ ПЕРЕД СНОМ, ВСПОМИНАЙТЕ ПЕРЕД ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СЛУЧАЕМ. ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ.*

Я сидел в тёмной уборной, смотрел на огарок свечи. Затем я начал вспоминать, вспоминать всё, с самого детства.

Меня зовут Николай Ужин. Я родился в 1895 году. Детство моё прошло в селе Вражьем.

Вражье – то место, где когда-то я бегал несмышлёным юнцом и медленно разгуливал остепенившимся юношей. Со всех сторон окутанное вереницей полей и лесов, это село было своеобразным осколком жизни, местом самобытным и отчуждённым, находящимся на каком-то отшибе реальности, в котором были свои комедии, свои трагедии, свои драмы, никак не связанные с театром боевых действий русско-японской войны.

Кажется, в детстве я за много лет успел облазить всё: сонные лощины, маленькие вишнёвые садики, тянущиеся нестройным рядом лесопосадки; побывал в каждом тенистом царстве. А какое наслаждение было в знойный день, в послеполуденное время, присесть в каких-нибудь кустах на пещеристую землю и наконец-то достать уже порядком мятую, но всё-таки чудом уцелевшую, краденную отцовскую папиросину. Какое счастье было наконец-то чиркнуть спичкою, зажать папироску губами и аккуратно поднести к папироске пляшущее пламя... Какое облегчение наступало в этот момент, какое блаженное невыразимое внеземное счастье наступало тогда, когда ты выдыхал первое небольшое облачко дыма... Вместе с этим дымом куда-то улетали, улетучивались, распадались твои проблемы, несчастья, невзгоды, вызывающие минимальное нервное напряжение, в котором, бывает, люди живут всю жизнь и настолько с ним свыклись, что и не замечают. Я поднимал голову вверх и понимал: вокруг голубое небо, зеленоватые поля, жужжит мелкая живность, поют птицы, где-то шумит листва, а ты в этом мире всего лишь гость, который, тем не менее, в центре стола. Гость на знатном пиршестве, вкушающий сладкие пряности, но и от горьких не имеющий права отказываться, а куда тебе позволено насладиться всем этим, звучными переливами вина из бутылки в бокал, звоном стаканов, сочными, спелыми плодами, мягкой музыкой невидимого пианиста, то насладиться надо в полной мере, чтобы внеземное наслаждение наполняло тебя, как пустую чашу, ведь рано или поздно из-за стола придётся выйти.

Образ села навсегда сохранился в моей голове, и, как правило, запомнил я его под большим, пылающим солнцем и лазурным небом. Однако дождливые, пасмурные дни тоже имели свое невыразимое очарование, которое усиливалось тогда, когда заканчивался идущий весь вечер дождь, заканчивался, наверное, чтобы дать людям возможность увидеть солнечный закат.

Осенью Вражье умирало, золотые гордые деревья становились серыми и скрюченными, зелёные поля меняли окрас на тускло-жёлтый, или же и вовсе виден был один чернозём. Пыльные дороги становились густым месивом, и лишь в некоторые выходные дни солнце заставляло нас скидывать отсыревшие, пропитавшиеся насквозь табачным дымом фуфайки и облачиться в тонкие светлые рубашки с закатанными рукавами. Вражье всегда до последнего боролось со смертью, пока в один день я не открывал глаза и, не сразу заметив необычайный белесый свет, доносившийся с улицы сквозь пыльное окно, не шёл завтракать, заниматься своими делами, а потом, подойдя к окну и заметив укутанные белой тонкой пеленой леса, деревья, штакетники и крыши, не восклицал: «Да, брат, Вражье то, похоже, сдалось!».

Зима тянулось долго, нудно, яркие вечерние краски заката не могли скрасить той густой тьмы долгих, тянущихся, как капелька воска, стекающая по свечке, зимних вечеров, которые

незаметно перерастали в ночь. Вокруг всё наталкивало на мысли о всеобщей пустоте, всеобщем забвении, а гуляющая туда-сюда вьюга подобные мысли в голове лишь подзадоривала, побуждала к ещё большей тоске, тоске невыразимой, оставляющей внутри лишь поля, сухие поля, где ни травинки, да только перекасти-поле катится туда-сюда.

Такое было Вражье: весёлое и грустное, одинокое и счастливое, живое и мёртвое, далёкое, но такое близкое. Таким оно сохранилось в моей памяти. Моей ли? Не придумал ли кто этих воспоминаний, не придумал ли кто меня? А если и так, то кто этот безумный чудотворец?

Следующее воспоминание уже более мрачное. Оно связано с учёбой. И первое, что я вспомнил, это мрачный, серый, угрюмый Петербург. То были последние годы перед сложным периодом в жизни нашего государства: совсем скоро следовала Великая Отечественная, или, как именовали её некоторые, Германская война, за ней Русская Революция и распад Российской империи.

Российская империя словно чувствовала свою ближайшую смерть, поэтому в предвоенные годы всё вокруг как-то переменялось, хотя это замечали немногие. Всё чаще над Петербургом собирались темные, свинцовые тучи, сквозь которые всё сложнее было пробиваться солнцу. Серые коробки зданий, грязные питейные дома, дешевые ночлежки. Этот Петербург действительно напоминал Петербург Достоевского. Казалось, всюду ходили нервные и мрачные Раскольниковы, Мышкины, Рогожины, а каждый грязный переулок являет собой язву, по которой можно диагностировать болезнь России.

Я приехал в Петербург, полный надежд и амбиций, но уже совсем скоро мои мечты и желания разбились о стену окружающей действительности. Какая-то тоска охватила меня уже в тот момент, когда я зашел в дом своей тётки, где мне надобно было жить во время обучения в институте. Скрип половиц, тиканье часов – единственные звуки, что нарушали гробовую тишину, царящую в этом доме. Моя тётка была доброй, но очень старой и молчаливой, большую часть времени она закрывалась в своей комнате и, посиживая в кресле-качалке, раскладывала пасьянсы. Женщиной она была немногословной, поэтому обычно мы обменивались короткими фразами, такими, как «с добрым утром», «приятного аппетита».

Сама же квартира была под стать её хозяйке: тёмная, дремучая, всё вокруг казалось ветхим и старым, забытым, изношенным. Покрылись пылью фотографии членов некогда большого тётушкиного семейства. Там стояла фотография её мужа, который погиб из-за того, что ему в голову пришло идти под турку, почём зря. Единственная дочка тётушкина померла от тифа за несколько лет до того, как на русско-турецкую войну отправился её отец. В общем, всё в этом доме было скорбно, мрачно, томно, тяжело.

Комнатка моя в тёткином доме тоже представляла собой зрелище достаточно убогое. Она была очень тесной, света в ней и вовсе не было, так что для чтения мне приходилось зажигать свечные огарки. Грязное узенькое окошко то и дело продувало, а по углам пауки вили свои паутины.

В университет я поступил без всяких проблем. Я думал, что мне там будет интересно, ожидал интересных дискуссий, каких-то студенческих кружков, но не революционного, а творческого толка. Ожидал приключений, анекдотов из студенческой жизни, романов. Но жизнь как-то проходила мимо меня. Ничего этого у меня не было, да и вообще, в целом, жизнь студенческая была скучна до одури. Юноша я был достаточно умный и начитанный, но вот учёба почему-то не вызвала во мне должного интереса. В общем, мною тогда овладела жуткая хандра. Ничего больше не интересовало меня на этой планете. Долгие часы перед сном, переворачиваясь с бока на бок, на скрипящей кровати, я повторял про себя одну и ту же цитату:

*Я богословьем овладел,  
Над философией корпел,  
Юриспруденцию долбил  
И медицину изучил.  
Однако я при этом всем  
Был и остался дураком.*

Друзей-товарищей у меня не было. Петербургские франты вызывали во мне отвращение, так что их я всегда сторонился. Некоторые из них, конечно, были людьми достаточно умными,

даже способными, но всегда шли не по тому пути, ум свой пускали не в нужное русло, сознательно выбирали тупиковый путь. Из-за моей отстранённости и равнодушия к окружающему меня, верно, считали чудаком.

Тоска по детству была жуткой, хандра одолевала меня каждый день. Я хотел что-то делать, но что – не знал и частенько задумывался, есть ли вообще смысл что-то делать, если потом ничего не будет? Страшные мысли меня одолевали порой, а в довершение ко всему на меня напала ещё одна страшная зараза – бессонница.

Порою бывало так: я с полчаса лежал на кровати, вслушиваясь в тишину, потом вставал и часа три бродил по комнате, скуривая крепкие папиросы, пока не станет дурно, и до того мне всё тогда казалось скверным, что я больше всего мечтал забыться сном, уснуть и видеть сны. В эти гнусные часы в моей голове постоянно прокручивалась уже другая цитата: «Когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженства. Спасибо тому, кто изобрел сон. Это единая для всех монета, это единые весы, равняющие пастуха и короля, дуралея и мудреца. Одним только плох крепкий сон: говорят, что он очень смахивает на смерть».

Я не могу сказать точно, сколько продолжался этот скверный период. Мне так показалось, что длилось это целую вечность. Мелькали серые будни, на которые я, одолеваемый хандрой и бессонницей, нервозно смотрел будто бы через какую-то пленку.

А в июне 1914 некий Гаврила Принцип из принципа убил Франца Фердинанда, эрцгерцога австрийского, наследника престола Австро–Венгрии. Это была искра, благодаря которой очень быстро разгорелся огонь мировой войны. Всё происходило очень быстро. Решения, от которых зависело множество жизней, принимались так, словно политики орешки щёлкали.

В июле, 28 числа, Австро–Венгрия объявила войну Сербии. В первый же день августа Германия объявила войну России, и в тот же день немцы безо всякого объявления войны вторглись в Люксембург. Уже 2 августа германские войска оккупировали Люксембург и Бельгии выдвинули ультиматум о пропуске германских армий к границе с Францией. На следующий день, 3 августа, Германия объявила войну Франции, обвинив её в «организованных нападениях и воздушных бомбардировках Германии» и «в нарушении бельгийского нейтралитета». В этот же день Бельгия ответила отказом на ультиматум Германии. Германия объявляет войну Бельгии.

4 августа Германские войска вторглись в Бельгию. Всё это напоминало какую-то быструю игру в дурака или преферанс, в которой объявить войну – что ход сделать.

Последующие события развивались ещё быстрее: Бельгия обратилась за помощью к странам-гарантам бельгийского нейтралитета. Лондон направил в Берлин ультиматум: прекратить вторжение в Бельгию или Англия объявит войну Германии. По истечении срока ультиматума Великобритания объявила войну Германии и направила войска на помощь Франции.

И наконец, 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России. Карты разыграны, ставки сделаны. Барабанная дробь, открывается занавес – на сцену театра боевых действий выходят Россия, Франция, Британия, Сербия, Бельгия, Черногория с одной стороны, Австро–Венгрия, Германия и Османская империя – с другой. Уже потом к сему действу подключается ещё целая труппа, но это потом. Начинает играть музыка, Моцарт, «Фантазия в фа миноре, К 608». Мировая война началась.

Я, недолго думая, бросил учёбу, чтобы отправиться тогда на фронт. Это стоило мне определённых усилий, но я всё же смог добиться своего. Учился я в первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете, куда поступил по желанию моего отца. Причём учился достаточно хорошо, несмотря на недостаток активности. Материал я усваивал слёту, памятью обладал великолепной. Многие преподаватели говорили, что во мне хороший потенциал, который я абсолютно не хочу реализовать. Я действительно много знал, много понимал, но это не вызывало во мне никакой гордости, никакого интереса. Частенько я жалел, что моя умная голова досталась именно мне, а не человеку активному и жизнелюбивому.

И вот я узнал о первой мировой войне, всё вокруг мне порядком опротивело, и впервые за долгое время я чем-то заинтересовался, загорелся. Я захотел на фронт, но попасть туда для меня было не так-то просто. Дело в том, что на фронт я мог отправиться в качестве зауряд-военного врача. Это звание, которое присваивалось студентам 4–го и 5–го курсов мединститутков, медицинских факультетов и медицинских университетов. Зауряд-врач получал погоны 2–го

разряда и мог отправляться на фронт. Проблема была в том, что до 4-го курса мне учиться надо было ещё несколько лет. А столько ждать я, естественно, не мог.

И тогда начался долгий и изнурительный забег. Три дня я бегал по кабинетам преподавателей и ректоров, вёл с ними долгие разговоры, упрашивая присвоить мне звание зауряд-врача. Во время этих разговоров преподаватели сначала отвечали мне твёрдым отказом, потом начинали сомневаться, потом экзаменовали меня. В общем, все пришли к выводу, что хоть я ещё достаточно зелен, чтобы проводить аутопсию для выявления причин смерти и проводить сложные хирургические операции, но прекрасно подхожу на должность военного врача, не растеряюсь в случае чего и смогу спасти человеку жизнь, заштопать рану, вправить вывих и вытащить пулю.

В общем, мне, в конце концов, присвоили звание, и уже скоро я отправился на фронт в погонах военного чиновника – коллежского асессора, правда, с нагрудным знаком особого образца, с тем, чтобы меня можно было отличить от коллежских асессоров медицинской службы и от прочих военных чиновников. Дело тут было в том, что звание зауряд-врача никогда не было чином и присваивалось исключительно практикующим врачам с определенным уровнем образования. Да и вообще слово «зауряд» использовалось как первая часть сложных слов в значении «исполняющий какую-либо должность, но не имеющий соответствующего чина или подготовки». Поэтому, хоть и форма одежды у меня была та же, что и у военных врачей, но без эполет и с особым знаком на погонах, чтобы можно было отличить от настоящего чиновника.

Впрочем, если не обращать внимания на все эти юридические и правовые мелочи, я вполне мог звать себя коллежским асессором Ужиным, к которому надобно было обращаться «ваше высокоблагородие». Так многие и поступали, путая меня с действительными чиновниками, и далеко не всегда я спешил их поправить.

Тем временем началась Восточно-Прусская операция. Войну я запомнил очень хорошо. Запомнить войну вообще легко, а забыть её невозможно.

Я был зачислен в 28-ю пехотную дивизию. 28-я пехотная дивизия входила в состав XX армейского корпуса 1-й русской армии. В состав дивизии входили четыре пехотных полка, объединённых попарно в две бригады: 109-й Волжский и 110-й Камский (1-я бригада); 111-й Донской и 112-й Уральский (2-я бригада). Я был зауряд-военным врачом первой бригады, 100 полка. Дальше – больше: каждый пехотный полк состоял из четырёх батальонов. Каждый батальон состоял из четырёх рот, нумерованных от 1-й до 16-й. Каждый полк имел пулемётную команду, то есть восемь пулемётов.

Я всё-таки успел, и 17 августа в составе 28-й пехотной дивизии, занимавшей положение на правом фланге армии, пересёк границу Восточной Пруссии. В этот день в боевых действиях наша дивизия участия не принимала, и потерь мы никаких не понесли. Утром 18 августа мы располагались в районе Вилюнен с авангардом в Швирпельн. С первыми лучами солнца обнаружилось, что германский I армейский корпус генерала Франсуа, накануне защищавший подступы к Шталлупенену, оставил свои позиции и отступил в западном направлении. Так что 18 августа русские дивизии продвигались вперёд. Наша дивизия, не участвовавшая в бою за день до этого, начала движение раньше других и продвинулась на запад дальше всех. Противника мы в тот день так и не встретили. И тут началась типичная для войны путаница. Война вообще дело хаотичное и непредсказуемое. Несмотря на всю военную строгость, выправку, точность и необходимый в армии порядок, в войне зачастую правит его величество случай. И побеждают скорее не те, у кого самая организованная и тренированная армия, а те, кто может к его величеству случаю приспособиться, кто не теряет головы во время хаоса.

За три дня наступления никаких ориентировок из штаба армии не было получено. Никаких сведений о положении дел на фронте у нас не было, мы ничего не знали. Командир и штаб нашей пехотной дивизии были крайне плохо осведомлены об общем положении армии.

Утром, 19 августа, наша пехотная дивизия встретила 112-й пехотный полк, с двумя батареями, занимавший район Виткампен. Наш 110-й пехотный полк, выполнявший роль авангарда, занимал 3-м и 4-м батальонами и батареей (4-я батарея) Мингштиммен. Первый и второй батальоны полка отдельными ротами были разбросаны в охранении по линии длиной восемь верст, причём роты обоих батальонов были перепутаны между собой и, таким образом, управление ими со стороны батальонных командиров было затруднено. Колонна нашего полка достигла Мингштиммен около десяти часов вечера 18 августа, и на протяжении ночи с 18 на 19

августа выставлялось охранение. Установка охранения на позиции было закончено примерно от четырёх до половины седьмого утра.

Сведения о противнике имелись только от дивизии частей конной группы генерала Хана Нахичеванского, побывавших в этом районе до подхода. Однако они были довольно смутными и сомнительными. Ни группировка противника, ни его силы штабу дивизии известны не были. Утром 19 августа из состава дивизионной конницы высылалась разведка, но она сведений о противнике не добыла. Таким образом, получалось, что находились мы в полной неизвестности. А неизвестность, как правило, страшнее всего, она заставляет ожидать самого худшего варианта развития событий и вообще ничего хорошего не предвещает. В общем, солдаты находились в самом мрачном расположении духа. Я же был умеренно флегматичен. Точно помню, что смерти я тогда ещё не боялся.

Немцы обнаружили себя сами, начав проявлять на фронте дивизии некоторую активность. Рано утром спешенный эскадрон, усиленный полуротой пехоты начал движение в направлении Бракупенена, где находился левый фланг боевого охранения. Немцы вступили в перестрелку с 3-й ротой 1-го батальона нашего полка. После перестрелки с находившейся здесь в охранении 3-й ротой 1-го батальона нашего полка, немцы отошли в сторону посёлка Нибудшена. Потери были небольшими, но были ранены, и мне удалось зарекомендовать себя в качестве хорошего врача.

Кровь, когда её много, – зрелище достаточно отвратительное. Ещё отвратительнее зашивать рану человеку, пока он сжимает зубы, смотрит куда-то в небо, молится господу или кричит. Тут нужно максимальное соотношение скорости и точности; помедлишь – будет плохо, поторопишься – ещё хуже. Но я со своей работой пока что справлялся. Хотя, чего уж и говорить, было сложно. Если обученные солдаты были в некой растерянности и привыкали к войне не сразу, то чего говорить обо мне? Когда я впервые услышал выстрелы, у меня по всему телу пошла дрожь, сердце колотилось как бешенное, а колени немного задрожали. Вскоре это прошло потому, что я понимал свою ответственность. Когда я брался лечить раненых солдат, мне нельзя было допустить никакой дрожи ни в руках, ни в других частях тела. Максимальная концентрация на пациенте, некоторая отстраненность от окружающей пальбы.

А ещё было как-то странно ощущать, что где-то там, совсем рядом, находятся люди, которые хотят и пытаются тебя убить. Эта мысль казалась странной, даже интересной. Бывали такие моменты, особенно во время душевного напряжения, когда ты будто бы видел реальность такой, какой она есть, максимально объективной, то есть абсурдной и нелепой.

Впрочем, достаточно лирики. Медленно, но верно, события начинали развиваться, набирали темп. Все вокруг ожидали крупного сражения, ощущение тревоги и напряжения витало в воздухе. Все хорошо понимали, что скоро прольётся много крови. События не заставили себя ждать.

На 19 августа наши войска, наконец, получили из штаба армии распоряжение занять главными силами фронт Ушбален, Кармонен, Пусперн, Зоденен, Гольдап. Согласно этому распоряжению, движение нашей, вырвавшейся вперёд, 28-й пехотной дивизии несколько задерживалось, в то время как прочие дивизии должны были продвинуться вперёд примерно на 10–12 километров для выравнивания фронта армии. А в 12 утра наш начальник, генерал Лашкевич, во исполнение задачи занять линию Ушбален–Бракупенен главными силами дивизии отдал приказ по дивизии N7:

«д.Брутшен.

ПРИКАЗ N 7

28 пехотной дивизии.

6 [19] августа 1914 г.

1. На рассвете 6 [19] августа у Бракупенена была перестрелка на левом фланге охранения 110 полка
2. Конница г.-л. Хана Нахичеванского ночевала у Егленингкена, 29 пехотная дивизия переходит 6 [19] августа главными силами на линию Кармонен–Пусперн. Штаб корпуса перейдет в Катенау.
3. Дивизии приказано 6 [19] августа занять главными силами линию Ушбален–Бракупенен:

- а) авангарду (110 пехотн. полк 8 ор.) перейти в Покальнишкен и к 5 часам дня выставить охранение по линии: Краузенвальде–Гутен–В. Канаппинен. Слева войти в связь с авангардом 29 п. дивизии;
- б) штабу дивизии перейти в Мингстимен;
- в) 109 п. п. и 24 ор. – в Ушбален;
- г) 112 п. п. и 16 ор. – в Бракупенен и войти в связь налево с частями 29 п. дивизии у Кармонена;
- д) 111 п. п., перейдет в Тутшен;
- в) саперам и гусарам – в Мингштимен...».

К приказу была сделана приписка, специально для командира нашего полка: «Начальник дивизии приказал вам приступить к исполнению приказа по прибытии 109 полка в Радчен. Начальник штаба полковник Цигальский». Начальник дивизии не ожидал какого-либо упорного сопротивления противника передвижению своих частей. Само продвижение вперёд предполагалось минимальное: главные силы перемещались на линию, занятую накануне боевым охранением, а боевое охранение немного продвигалось вперёд. Кажется просто на бумаге, казалось просто и тогда. Но всегда есть это треклятое «но».

Приказ N7 начал выполняться. К часу дня колонна 109-го пехотного полка подошла к Радшену, о чем было донесено в наш полк. После этого роты начали выдвигаться в сторону Покальнишкена. И тут началась путаница. При выставлении охранения роты 1-го и 2-го батальонов были перемешаны. Поэтому движение полка началось в двух импровизированных группах: правой и левой, причем первая, по-видимому, должна была занять Покальнишкен, а вторая – содействовать ей в этом. Однако движение нашего полка довольно быстро было остановлено сильным артиллерийским огнём противника. Не менее трёх германских батарей вели огонь из окрестностей Нибудшена. Они быстро привели к молчанию единственную батарею авангарда. Положение было всё хуже и хуже.

Где-то в тот момент, когда напряжение нарастало, я понял, что жизнь не такая уж и плохая штука. В тот же момент я осознал, что действительно хочу жить, хочу бороться. Конечно, есть тут какая-то дешевая театральность и вшивый сентиментализм, но таков уж я был – жалкий романтик. Я тогда ещё подумал, что, наверное, это хорошее лекарство от депрессии, меланхолии, апатии и суицидальных мыслей – закинуть больного на войну, на денёк, побегать под вражеским обстрелом. Глядишь – и жить захочет, да ещё как!

Примерно в четыре часа дня в районе Бракупенена и Радшена между русской и германской артиллерией завязалась ожесточенная дуэль. Колонна 109-го пехотного полка тем временем подошла к Ушбалену. Артиллерия развернулась у Шуркляукена и открыла огонь. В ответ германцы, заметившие движение русской колонны, повели артиллерийский обстрел из района Покальнишкена–Варкалена. Артиллерийский огонь с обеих сторон продолжался. Приказ N7 не ставил определённых целей после занятия района Ушбалена и перед 109-м полком. Так что опять мы попали в неизвестность, опять не знали, что нам делать дальше, опять многие были одержимыми сомнениями. Тем временем, количество раненных увеличивалось. Я весь покрылся потом, хотел пить, и мне было страшно.

Продвижение нашего полка на фронт Покальнишкен–Нибудшен не получило развития. Нам препятствовал артиллерийский огонь противника. Германцам вскоре удалось зажечь Бракупененскую водокачку, которая являлась выгодным наблюдательным пунктом. Положение ухудшалось, части вводили в бой беспорядочно. Штаб дивизии видел мерой исправления этого положения создание импровизированных объединений, которые должны были повысить управляемость частей. Однако в условиях разгорающегося боя это приводило к дальнейшей путанице. Как следствие неразберихи в управлении дивизией отдельные её полки действовали беспорядочно.

Положение нашего полка же к тому времени было особенно бедственным. Мы заняли южную опушку Бракупенена. Линия, в которой находились 2 и 3 роты, сильно обстреливалась, над головой разрывались снаряды. Вот тут действительно война начала разворачиваться во всей своей красе. До сих пор были неизвестны силы противника, было шумно, при этом многим требовалось очень быстро оказывать медицинскую помощь.

Вообще, я ловлю себя на мысли, что не могу думать о войне в каких-то красивых метафорах, поэтичных фразах, звучных лозунгах. Война – это всегда грязь, кровь, страдания и

трупы. В ней нет ничего поэтичного, возвышенного. Это сплошные убийства, жестокость, ненависть и разруха. Вспоминая войну, я могу лишь сухо переложить факты, вспомнить некую статистику, какие-то моменты. Но могу ли я как-то красиво описать убийство одними людьми других? Можно ли вообще такое описать? Мне кажется, что нет.

Держаться было тяжело. В шесть часов вечера наш командир наконец-то получил из штаба дивизии оценку сил неприятеля:

«Против нашего фронта, вероятно, 2 батареи и немного спешенной кавалерии»

Ключевыми словами было «вероятно» и «немного». Как итог, наш полк так и не смог занять назначенный ему посёлок Покальнишкен даже при огневой поддержке всей дивизионной артиллерии.

Позже мы получили ещё одну записку:

«Правей 109 полк с дивизионом артиллерии подошел к Покальнишкену, левой 112 и 111 полки и части 29 дивизии. Фронты действий полков 1 бригады Нибудшен – Покальнишкен, держа связь влево со 2 бригадой, командование над которой принял генерал Российский. Задача 28 дивизии содействовать 29 дивизии, направленной на правый фланг противника; в наступление перейти одновременно с частями 29 дивизии. 1 бригадой командует полковник Гранников».

Мы получили поддержку со стороны 109-го полка с правого фланга, и боевая линия немного продвинулась вперед, вскоре силами правой группы полка был занят двор Харбуден. Затем наш полк загнул свой правый фланг фронтом на запад и удержался на меридиане Шуркляукена, где находились позиции артиллерии 109-го полка. Раненых было всё больше и больше; так, например, 109 полк был побит артиллерией и лишился управления из-за потери командира и его заместителя, потери были серьезные. Некоторых раненных мне спасти не удалось, за что я до сих пор виню себя. Чувство вины – самый сильный яд из всех. Он не убивает тебя сразу, но отравляет на всю жизнь и никогда не выводится из организма; чувство вины, засевшее внутри, преследует человека до самой его смерти. Даже раскаяние и покаяние не помогают в этом случае. Это и есть тот крест, который человек вынужден нести, каждый до своей Голгофы.

Остатки 109-го полка бежали, наш полк прекратил попытки продвижения вперед, наступили сумерки, бои начали затихать. Итоги дня были неутешительными: 109-й Волжский полк был разгромлен, правофланговый полк разбит, конница Хана Нахичеванского исчезла без следа.

Если сумерки и были хоть каким-то отдыхом для солдат, то для нас это было время упорного труда. Наконец-то мы могли в более или менее спокойной обстановке оказать помощь раненым бойцам, провести более сложные операции, подлатать кого-то. Поспать мне удалось немного, но заснул я тогда сразу, даже без намёка на бессонницу. И уснул я мёртвым сном... или сном младенца, так что просыпаться через пару часов оказалось очень сложно.

К утру через Мингштиммен в район Ушбалена двигался 111-й пехотный полк. Наш полк занимал своими перемешавшимися ротами позиции на рубеже Козелсгоф–Бракупенен. 112-й пехотный полк находился в районе Бракупенена. Остатки 109-го полка находились в резерве.

С рассветом германская артиллерия открыла огонь и через некоторое время германская пехота пошла в атаку. Практически с первыми лучами солнца поднялась стрельба, яростная и беспощадная. Из-за недосыпа, голода и расстроенных нервов люди стали ещё злее, чем в первые дни боевых сражений, поэтому грядущий день не предвещал ничего хорошего. С пяти утра германские пехотные дивизии повели атаку против центра и левого фланга.

Примерно к 10 часам утра сопротивление 111-го пехотного полка у Ушбалена уже было сломлено. Во все части дивизии было передано приказание генерала Лашкевича «Ни пяди назад!». Несмотря на это, части 111-го пехотного полка начали отход. Несколько рот, державшиеся более доблестно и попытавшиеся выполнить приказ «ни шагу назад!», были окружены и погибли полностью. Этот бой был ещё тяжелее, чем вчерашние. На батальоны нашего полка начала распространяться угроза охвата, они начали в беспорядке оставлять позиции. Ротам не было указано направление отступления, некоторые отходили к правому, а некоторые – к левому флангу.

И тут начался переломный момент в моей жизни. Части нашего полка, а также 111 и 112 подошли к перекрестку дорог на Тутшен и Зеекампен. Связи со штабом дивизии уже не существовало. После обсуждения общего положения командирами полков решено было отступить на Тутшен и дальше на Шаарен, где были обозы 2 разряда всех полков дивизии.

Отступление велось в колонне, охрану колонны принял на себя разъезд 2-го Лейб-Гусарский Павлоградский полк, который доносил о том, что колонне угрожает неприятельская кавалерия с конной артиллерией. Так как на нашем фланге отступал конный отряд, который должен был сделать набег на левый фланг расположения противника, этому донесению не было придано особого значения. Мы прошли деревню Зеекампен, и у лощины внезапно раздались пулемётные выстрелы.

Из пулеметов начали обстрел. Был обстрелян обоз, перепуганные лошади в этой сумятице понеслись по рассыпавшейся цепи рот, а затем кавалерия противника бросилась в атаку, охватывая фланг. Все полки нашей дивизии, застигнутые врасплох, рассеялись в разных направлениях. Именно в этом хаосе несколько пуль попало мне в правую ногу.

Последнее, что я помню – это крики, упавший рядом со мной солдат, которому пуля прострелила голову, ржание лошадей, грохот падающих повозок, пыль, конная артиллерия противника недалеко, у всех на лице растерянность и недоумение. А затем – жгучая боль в правой ноге, от голени до правого бедра. Боль эта была настолько сильной, что её невозможно было бы долго вынести, у меня словно нога загорелась изнутри. Особенно страшно слышать, как внутри тебя хрустят и ломаются кости, с характерным неприятным звуком. Все вокруг поплыло, закружилось, а потом наступила темнота.

Перед тем, как наступила темнота, я подумал о том, что, наверное, умираю. Неверно говорят, что сон разума порождает чудовищ. Сон разума вообще ничего не порождает. Уж не знаю сколько, но какое-то время меня вообще словно и не существовало; в этой тьме не было мыслей, боли, вообще ничего. Это было похоже на то время, когда я ещё не родился. Там было хорошо и приятно.

Пробыл я в безвременье и пустоте долго, очень долго. Потом боль начала нарастать, появился свет. После атаки немцев все полки дислоцировались кто куда, наш же полк вместе с командиром оказался во Владиславове, уездном городе, расположенном на самой границе Российской империи. Вокруг слышались стоны раненных или умирающих солдат. Вскоре я осознал, что и сам стону от невыносимой боли. До этого я боли не замечал, но теперь, когда я заметил её, она усилилась со страшной силой. Ко мне подошла сестра милосердия.

– Вам повезло, наши солдаты смогли вас вытащить при отступлении. Вы обязаны им жизнью. Жизненно важные органы у вас не задеты, но несколько пуль попало вам в правую ногу. У вас раздроблены кости колена и голени, пробита четырёхглавая мышца бедра.

– Можно воды. Я хочу пить...

– Да, да, сейчас.

– И обезболивающее... любое... морфий, раствор кокаина, хоть что-нибудь, быстрее.

Из глаз текли слёзы, я вытянулся на кровати, вцепившись руками в спинку. Боль была просто невыносимая. Все окружающее затемнялось, теперь центром моего существования была эта адская боль, которая полностью овладела мной. Зубы я сжал так крепко, что мне казалось, сейчас они начнут ломаться.

– Подождите минутку.

– Чёрт бы вас побрал! Мне нужно обезболивающее средство!!! – закричал я истошно, и напуганная молодая сестричка побежала куда-то. Её не было около минуты, но эта минута показалась мне настоящей вечностью, в чёртову ногу словно напихали осколков и бритв. Я сильно извивался и стонал, так что меня помогли держать зашедшие к товарищам в госпиталь здоровые солдаты, после чего мне сделали инъекцию. Спустя несколько минут боль начала немного утихать, хотя по-прежнему была невыносимой. Ещё через пару минут ощущение было такое, что кто-то кромсает мою ногу ножом, но это было не так больно, как до того.

– Я могу спасти ногу? – спросил я у пробегающего мимо врача.

– Возможно. Как только вы будете готовы к транспортировке, вас переправят в главный военный клинический госпиталь Бурденко. Там, в более приемлемых условиях, врачи скажут, чего вам ждать. Мы вытащили пули из вашей ноги, но повреждения достаточно серьёзные. Плюс к этому, вы потеряли много крови.



- К чёрту ждать, переправляйте сейчас, я вытерплю.
- Как ваш лечащий врач, я не могу этого сделать.
- Как ваш пациент, который всегда прав, я настаиваю! – закричал я. – Мы тратим время.

Я хочу спасти ногу!

Мой настойчивый тон и отразившиеся на лице невыносимые мучения, видимо, вразумили доктора, и в этот же день на последнем санитарном поезде я отправился в Петроград. Говорят, что человек привыкает ко всему. Так вот, привыкнуть к постоянной жгучей и невыносимой боли практически невозможно. Едва действие морфия начинало слабеть, как я колотил по стенке, вгрызался в подушку, хватался за ногу и громко выл, лишь бы мне вкололи хоть ещё немного этого сильного обезболивающего.

- Да у вас, батюшка, солдатская болезнь развивается! – сказал доктор, ехавший в поезде.
- Плевать! Лучше так, чем терпеть это...

Лишь после инъекции морфия я мог нормально заснуть, до того невыносимая была боль. Я просыпался ненадолго, потом проваливался в сон опять – и так много раз, а потом я провалился в сон и очнулся уже в палате военного госпиталя Бурденко.

Я проснулся весь в поту и первым делом схватился за ногу, потом закричал, чтобы мне принесли ещё раствора. Дело было плохо, зависимость у меня развилась гораздо быстрее, чем я ожидал. А это значило, что когда боли утихнут, мне придется ещё и лечиться от тяжелой солдатской болезни, как называли в простонародье наркотическую зависимость. Но зато – я убедился, что ногу можно оставить, но хронические боли будут мучить меня до конца жизни.

- Правда, – добавил доктор, – со временем они будут не такими острыми.

Затем наступили долгие полгода лечения и реабилитации. Я не мог встать с кровати, меня постоянно тошнило, гнуло и ломало от невыносимой физической боли. Я практически не помнил себя в трезвом уме и твердой памяти – едва только заканчивалось действие морфина, как я кричал на всю палату – «Помогите!» – и колотил по стенке.

Особенно было тяжело, когда морфин чуть не угробил мне печень. Меня тогда перевели в особую палату и привязали к кровати, чтобы я не буйствовал. Мне надо было провести там минимум неделю, чтобы яд вывелся из организма, прежде чем можно было давать мне ещё дозы. Эта неделя длилась как месяцы, годы, века. Серая стена справа, белый потолок, стальная дверь с решёткой, капельница и боль, такая сильная, что жить не хочется. Меня постоянно тошнило, а я даже не мог вытереть рвоту с подбородка – это делала заходившая раз в полчаса санитарка.

Ломка, скажу я вам, страшная вещь. Первый час ты держишься нормально, даже уверен, что тебе больше не нужно это глупое вешество, что ты справишься сам! Понимаешь, что человек – сильное существо, способное вынести всё, если есть воля и стремление. Ближе ко второму часу все смелые и гордые убеждения начинают утихать, закрадывается небольшое сомнение. Через полчаса ты готов уже сделать для себя поблажку, мол «ну ладно, я знаю, что я и так сильный, зачем строить из себя героя и лишать себя того, что мне нужно?» К третьему часу ты уже забываешь ко всем чертям эти мысли о непобедимости и всемогуществе человека по той простой причине, что человек навсегда заключен в своём теле, слабом и немощном, которое он не может контролировать.

Тело умирает, тело болеет, страдает, толстеет и худеет, не растёт или скрючивается – и зачастую все эти процессы человек не может контролировать. Мы заложники своих тел, которые с каждым днём начинают постепенно выходить из строя. Я тогда понял, что не стоит тешить себя иллюзиями и смотреть на всё объективно. Какое уж тут величие, когда мы не можем даже до конца понять, как работают механизмы нашего тела?

Острая боль вместе с ломкой чуть не убила меня; по крайней мере, тогда я мог умереть. Очень странно сейчас так легко вспоминать о тех моментах. Я будто бы всю вечность провалился в той палате: сломанный, разбитый, изувеченный. Всё тело пронзали иголки, ножи, пики.

Из военного госпиталя меня выписали весной 1915–го года. Очень здорово после долгого заточения возвращаться на свободу. Непередаваемое чувство – впервые за долгое время дышать свежим воздухом, ощутить простор. Очень долго моё пространство было ограничено, а теперь вокруг простор, свобода. Помню, от этого чувства у меня закружилась голова. Казалось бы, самое страшное позади.

Я убедил своего врача, что жизнь без инъекций морфия для меня будет невыносима, поэтому с морфием проблем у меня с тех пор не было. Боли у меня сейчас были не такие, как в самом начале, но все равно достаточно сильные. Правая нога у меня теперь очень сильно хромала, так что я ходил с тростью.

Выяснилось, что, пока я лежал в госпитале, умерла моя тётка, квартира пустовала, но она завещала её мне. Так что после двух ночей в гостинице, я смог вернуться в эту тёмную квартиру. Первым делом я убрал к чёртовой матери все эти портреты, потом немного прибрался там, написал письмо родителям, заверил их, что я жив, что со мной всё в порядке. Вместе с квартирой тётка завещала мне неплохую сумму и драгоценности, так как я был единственным её наследником. В общем, в деньгах я не нуждался. Многие драгоценности я распродал, а то, что осталось, оставил на чёрный день.

С тех пор я жил угрюмым затворником. Дом покидал редко, единственный человек, с которым я общался, – это мой доктор, который выписывал мне морфий. Ещё ко мне заходила убираться и готовить соседка, которой я это щедро оплачивал. Деньги в основном у меня уходили на морфий, книги и сигареты. К тому же, я приобрёл себе граммофон и частенько покупал пластинки. А ещё я много спал, режим дня у меня вообще был беспорядочный. Я мог заснуть днём, проснуться ночью, а мог, как и все люди, спать ночью и бодрствовать днём, в общем, таким вещам я не придавал значения. Но чем я больше спал, тем меньше было боли.

Дни мои проходили в каких-то морфийных заманчивых виражах; часами я мог сидеть в кресле, уставившись в одну точку, и думать о чём-то своём, погружаться в какие-то глубинные слои подсознания, грезить наяву. Всё дальше отдаляясь от реальности, я превращался в сомнамбулу. Так и прошло несколько лет.

А потом, в феврале семнадцатого, в Петрограде начались бои. Февральская революция отобрала бразды правления у царского правительства, власть захватил Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Только вот всё это проходило как-то мимо меня, я давно уже выпал из жизни. Хромой, несчастный калека, я не мог внести абсолютно никакого вклада в творившееся вокруг меня безобразие. Привычным делом стало засыпать под звуки пальбы. Иногда, в каких-то морфийных фантазиях, мне грезилось, что выстрелы раздаются прямо в квартире, я слышал какие-то агрессивные крики в соседней комнате, но даже не поворачивал голову.

В события, которые происходили в Петрограде с февраля по осень, я вдавался не очень сильно, был лишь немного наслышан от соседки и своего доктора, но их слова обычно быстро вылетали у меня из головы, я вообще стал очень забывчив. Ну да, я понимал, что скоро грядёт новая революция и гражданская война, но подробностей, как таковых, не знал.

И вот – была уже, наверное, осень, когда в один день я прилёг спать в своей комнате, предварительно сделав себе на сон грядущий хорошую инъекцию морфина, чтобы не просыпаться до утра. Убаюканный спасительным зельем, под звуки далёких выстрелов, я заснул крепким сном. Но сон мой продолжался недолго. Через несколько часов случилось нечто странное, что запустило цепочку загадочных, мистических и необъяснимых событий, в которые я невольно был втянут.

Я проснулся в холодном поту от того, что почувствовал во сне чьё-то присутствие совсем рядом. Лунный свет падал на центр комнаты. Именно тогда, осматривая свою комнату, чтобы окончательно осознать себя в реальности, я заметил темный силуэт, стоящий у окна. Сначала мне показалось, что это сон, потом – что это какая-то морфийная галлюцинация, которые время от времени случались, но нет. Присмотревшись, я понял, что это реальный человек. От неожиданности, почувствовав впервые за пару лет забытое чувство страха, значительно притупившееся в результате длительного употребления морфия, я закричал, закричал громко и пронзительно.

– Боже, Ружейников, тише вы, вам что, жить надоело? – спокойно ответил силуэт.

– Кто вы такой? – рука моя пыталась нащупать запрященный под подушкой револьвер (от таких вот незваных гостей), но его почему-то там не было.

– Хватит, Илья. Совсем со своим морфием свихнулся. Тише ты. Шепотом. Забыл что ли, что на улице творится?

– Я никакой не Ружейников, и не Илья...

Мои слова прервал залп выстрелов, прогремевший на соседней улице, и отдалённые крики. В ночном небе висела кроваво-красная луна, которая была достаточно красивым и необычным атрибутом к творившимся в городе беспорядкам. Культурная столица погружалась в мрак и хаос, устроенные кучкой матросов.

– Сейчас не время шутить. Нам надо бежать.

– Да куда бежать, что происходит?

– Я скоро заберу у вас этот морфий, Ружейников! Мы тут не в игрушки играем, в конце концов. За границу. Мы уже всё с вами обговорили, всё продумали, а вы, как всегда, обкололись своей дрянью и уснули мёртвым сном. Хоть бы сегодня побрезговали...

Моя трость, стоявшая обычно возле тумбочки, рядом с кроватью, каким-то образом оказалась стоящей у конца кровати, так что дотянуться я не мог. Револьвера не было. На стороне силуэта было явное превосходства.

– Опять вы за своё. Забрал я ваш револьвер. Вы когда обколётесь – немного не в себе, ей богу. Не помните, как после инъекции бегали за проституткой со своим револьвером, грозясь убить суку? Не хоча оказаться на её месте, уж извините.

– Я, правда, ничего не понимаю...

Ещё выстрелы.

– В доме драгоценности есть? А?

– Ну вот, – вздохнул я, – наконец-то закончились эти игры, зачем всё это? Я же сразу прознал, вы простой грабитель. Какой был смысл...

– Ну же, Илья, остепенитесь, вот же, могу выйти на свет, если вам это поможет. Я смотрю, вам все хуже и хуже, пора бы вам бросить эту дрянью.

Человек вышел на свет. Он был небольшим, в меру упитанным лысым мужчиной, ростом, пожалуй, даже чуть ниже меня, в элегантном строгом чёрном костюме, его взгляд отделяли от меня небольшие очки в изящной тонкой золотистой оправе. Моё первое впечатление о нём было положительным. На грабителя он тогда не смахивал и был похож скорее на типичного представителя отечественной интеллигенции, который при жизни и Кантом попрекнёт, и Гегелем.

– Ну что, убедились?

Я хотел ответить, что впервые вижу этого человека, что понятия не имею, кто это, как оказался он в этой квартире, почему он называет меня неким Ильёй Ружейниковым, причем обращается так, словно мы с ним старые приятели, ежедневно пропускающие по кружечке в кабаке. В очередной раз раздались выстрелы, возможно, шальная пуля лишила кого-то души, странные веяния творились в городе.

– Берите драгоценности, и всё. Больше ничего. Мы уходим. Ну, ещё баночку свою возьмите.

– Куда уходим, позвольте, что происходит?

– Ружейников, вам объяснить, что ждет отечественную интеллигенцию? Вы начинаете меня раздражать, при всём уважении, несмотря на то, что вы мой хороший друг.

– Ладно, подайте трость.

Я достал коробочку, в которой хранились золотые цепочки, кольца, серебро. Всё это было сложено во внутренний карман. В нагрудный карман я положил старенькую, потрёпанную фотографию, на которой я, ещё маленький, стоял рядом с отцом и матерью у нашего дома, во Вражьем. Впоследствии эта фотография была моим единственным оружием против моего размытого, странного, призрачного врага. Именно она позволила мне продержаться так долго, до сего момента.

Когда я вышел, человек уже накинул пальто и ждал меня в гостиной. Поспешно одевшись, мы покинули квартиру. Я хотел было закрыть её на ключ, но человек сделал жест рукой, мол «не надо, не стоит!», и я лишь кивнул и двинулся за ним. Это было безумие – двигаться за непонятным человеком, с карманами, набитыми драгоценностями, непонятно куда, непонятно зачем. И я бы не стал этого делать, но у него был очень весомый аргумент, даже целых шесть весомых аргументов, которые способны были пробиться до самых глубин моей души. Рисковать не стоило. Я готов был умереть, но всё-таки не хотел с этим спешить. К тому же, я уже испытал на себе, что же это такое – «огнестрельное ранение» и не хотел испытать это ещё раз.

На улице было страшно. Мне на какой-то миг почудилось, что я вновь вернулся на войну. Почудилось, что я никогда её не покидал, а весь этот холодный город, эта просторная квартира, эти люди, которые вроде как крутились вокруг меня, но были на совсем другой орбите – все это было каким-то причудливым сном. Словно всё это было сном в ту ночь, во время битвы при Гумбиннене, который не должен был заканчиваться, а потом этот человек – ангел смерти – решил, что мне ещё рано, и решил вернуть меня обратно. Я почти был уверен, что сейчас всё провалится под землю и останутся лишь прерывистые звуки пальбы, пока ещё отдаленные.

Мы шли с Петергофского проспекта, прошли по мосту через обводный канал, повернули направо, прошли вперед и затем свернули на Лифляндскую улицу; там мы, немного пройдя, свернули в парк Екатерингоф. Тогда мне пришла в голову ещё одна интересная версия: всё-таки этот низенький человек, наверное, грабитель, и где-нибудь тут, на полянке, меня уже ждут его друзья, бандиты, которые будут рыться по карманам пиджака, накинутаго на моё остывающее тело.

Но и тут я ошибся. Без всяких происшествий мы вышли к реке Екатерингофке, прошли вдоль берега и подошли к пришвартованному старенькому, поржавевшему катеру. Возле него сидел, покуривая папироску, мужик с суровым лицом, в потёртой фуфайке. Что-то в нем сразу выдало бывалого военного.

Завидев нас, он ловко прыгнул на катер, потом лысый человек помог забраться мне и залез последним. Он не сказал ни слова мужику в фуфайке, тот тоже сохранял свое угрюмое молчание. Так мы плыли в одном катере, – три разных человека, с непонятными судьбами, туманным прошлым и ещё более туманным будущим. Кто же знал, что последний раз тогда я глядел на крутые берега Петрограда? Кто же знал, что я удалялся от родных мест ещё дальше, пока какой-то непонятый бушующий вихрь не забросил меня куда-то в Берн, забрав у меня имя и прошлое, единственным свидетельством которого оставалась таящаяся в нагрудном кармане старая фотокарточка.

На катере мы выплыли в Екатерингофский бассейн, затем в морской канал и там через Финский залив прибыли на остров Котлин, где угрюмый мужик заправил катер, после чего мы прибыли в Смолячково. Оттуда мы и двинулись в Финляндию. Так и начался наш долгий путь в Берн...

Лысого человека звали Лев Давидович. Когда я пытался что-то разузнать о нём, узнать, какие цели он преследует, куда они меня везут, он всегда отвечал: «Ружейников, хватит, совсем от своего морфина с ума сошли!», так что за всю дорогу я не узнал ничего конкретного. Вся проблема была в том, что я был не какой-то Илья Ружейников, а Николай Ужин. Однако же, лысый человек был отчаянно уверен, что это именно я, его старый друг и товарищ Ружейников, который просто немного не в себе. Несмотря на его бросающуюся в глаза мягкость и добродушность, он постоянно пристально следил за мной, часто я ловил на себе его пристальный взгляд.

Ещё большее подозрение вызывал у меня второй, хмурый, молчаливый. Лев Давидович звал его Митрофановым. Впервые он удивил меня, когда неожиданно скинул свою фуфайку и переоделся в типичный интеллигентский костюм, сменил старые поношенные сапоги на новые туфли, надел великолепно сшитый пиджак.

Несмотря на демонстративную отчужденность и безразличие, он тоже постоянно следил за мной, но не так явно, как Лев Давидович. Он никогда не смотрел мне в глаза и вообще на меня не смотрел прямо, но мог долгое время наблюдать за мной боковым зрением. Они очень мало спали, провожали меня до уборной в поездах, провожали меня в буфет, сопровождали всюду, ссылаясь на мою, якобы, спутанность сознания в связи с постоянным употреблением морфина. Было непонятно, что за игру они ведут, я ничего не мог узнать, а судя по тому, что творилось сейчас в культурной столице, то все, что я мог сделать, это просто следовать за этими загадочными странниками, надеясь, что это просто какая-то большая, жуткая ошибка. Разговорить их было практически невозможно, даже скрывающийся за маской доброжелательности Лев Давидович постоянно избегал длинных разговоров. Чего уж и говорить о хмуром и молчаливом Митрофанове.

Бежать куда-нибудь я не мог по причине хромоты – это раз, и по причине непонятного и загадочного влияния, которым обладал Лев Давидович. Например, у него был катер, который они просто так оставили у берегов финского залива; в посёлке Смолячково у него был дом, а в

гараже стояла хорошая, дорогая машина с полным баком бензина. Откуда-то у него были подставные документы, по которым мы впоследствии путешествовали через границы Европы. Вдобавок ко всему, он возил с собой крупные суммы денег. К тому же он постоянно, несмотря на всё своё сетование, снабжал меня добрыми порциями морфина (за что я ему, впрочем, безмерно благодарен, хоть он и враг). Судя по всему, это был богатый и влиятельный человек, со множеством подвязок.

Через Великое Финляндское Княжество мы путешествовали достаточно долго. В конце концов, мы прибыли в город Турку, а оттуда паромом отправились в Стокгольм. Из Швеции, на поездах мы добрались до Дании, а там, через Германию, наконец-то прибыли в Берн. Европу я так практически и не посмотрел. Мы нигде надолго не останавливались, Лев Давидович словно боялся куда-то опоздать. Финляндское Княжество мы, кстати, покинули вовремя, потому что уже 6 декабря оно превратилось в независимое государство.

И вот, наконец-то, по прибытии в Берн, Лев Давидович уведомил меня о том, что это конечный пункт нашей остановки. Берн – прекрасный городок! С хорошим климатом, множеством красивых зданий, прекрасной природой. На какое-то время меня даже покинули мрачные мысли по поводу моего неясного города, до того хорош был этот швейцарский городок. Он был абсолютно противоположен мрачному, серому Петербургу, скрывающемуся под свинцовыми тучами. Здесь всегда ярко светило солнце. Да и люди здесь казались мне добрее, никто не ходил по улицам с мрачными, угрюмыми гримасами. Я даже удивился, когда увидел людей, идущих по городу с улыбкой на лице. У нас на родине это считалось дурным тоном.

Странные события началось тогда, когда мы вошли в большую, просторную белую усадьбу, располагающуюся за городом. Лев Давидович с Митрофановым пошли в какой-то сад, впервые оставив меня одного, но я был уверен, что сбежать мне не удастся. Хотя бы потому, что некуда бежать. Помню, как я зашел в коридор, встал грязными ботинками на новый ковер, во дворе бегали дети, было довольно жарко, но внутри, в помещении, сохранялась приятная прохлада, в доме было тихо, ничто не нарушало идеальной тишины.

Именно тогда из столовой вышла она. Темные волосы, низенького роста. Я впервые видел эту женщину, а она, завидев меня, остановилась прямо посреди комнаты, расширила глаза, нижняя губа затряслась, на глазах выступили слезы. Так она стояла секунд десять, а потом резко подбежала, начала обнимать меня, пыталась поцеловать, а я стоял как столб, стараясь не уронить трость, весь сжался, закидывая голову назад.

– Илюшенька мой вернулся! Наконец-то, я уж думала, не увижу тебя никогда... Ну что же ты, не рад меня видеть?

Тут в комнату зашли Лев Давидович с Митрофановым.

– Простите, но я вас вижу в первый раз, – сказал я, громко, не в коем случае не крича, просто сказал ясно и отчетливо... Мне казалось, от моих слов сейчас содрогнутся стены.

Она замерла с широко раскрытыми глазами, потом начала рыдать, к ней подбежал Лев Давидович.

– Вы уж его простите, это все морфий, право же, морфий, скоро он придёт в себя, не беспокойтесь!

Он ушел куда-то, его не было в течение пяти минут, невыносимых пяти минут, в обществе высокого молчаливого сфинкса, который не сказал ни слова, смотрел в сторону, однако каждая фибра его души окутала этот белый коридор. Мне в какой-то момент показалось, что Митрофанов хочет мне что-то сказать, но он всё не решался и даже как-то испуганно смотрел на дверь.

– Ну что же вы, Ружейников, – сказал Лев Давидович, когда вернулся, – совсем совесть потеряли, жену родную не узнаете!

– Но у меня никогда не было жены. Эту женщину я и вправду вижу впервые, да, она красивая, привлекательная, но я вижу её впервые.

Он осуждающе посмотрел на меня, а затем вместе с Митрофановым проводил в мою комнату, на втором этаже. Точнее, в комнату Ружейникова, который, по всеобщему мнению, был мною. Тут-то я и собирался поставить им всем шах и мат.

Моя комнатка в этой усадьбе была гораздо больше, чем та, что была в Петроградской квартирке. В неё умещалась роскошная кровать, старый рояль, письменный стол, тумбочка и шкаф до самого потолка, под завязку набитый книгами – как в новейших, ещё пропитанных

ароматом типографской бумаги ароматом, переплётах, так и в старых, потрёпанных. Было открыто окно, из которого веяло летом, веяло дамами в белых платьицах и мужчинами в белых рубашках и черных жилетках, перекидывающих за плечи пиджак, веяло солнцем, веяло зарубежьем. Но почему-то вся эта белизна, вся эта роскошь, все это убранство и нивелированный беспорядок, не вызвали у меня умиления, хотя первые пару секунд что-то взыграло в моей душе. Я ощутил тоску по своей комнатке, по дому, в котором прошло моё детство.

– Скажите, – спросил я тогда у Льва Давидовича, – а где хоть одна моя фотография, а?

– Да вот же!

Он достал пыльный фотоальбом и открыл на первой странице, где на всех фотографиях был запечатлен маленький, практически грудной ребёнок. Я пролистал весь альбом. Фотографии делились в течение примерно трех лет, и возраст ребёнка, запечатленного на фотографиях, на самой последней из них был максимум три года. Рядом с ним были разные люди, усатые мужчины, бородатые старики, дамы в бальных платьях.

– Вздор... Это может быть любой другой ребёнок, любой другой! Где я в юности? Где я повзрослевший?

– Вы, Ружейников, видимо забыли все свои путешествия галопом по Европе. Мы с вами очень редко были в Берне. Очень редко. Вашу свадьбу с Анечкой наспех играли. Вы почти не фотографировались. Может, у кого из знакомых есть ваши фотокарточки, я поспрашиваю...

– Да, идите, спрашивайте прямо сейчас. Мне надо побыть одному.

– Знаю я ваше «побыть одному»!

Лев Давыдович вышел из комнаты. Я точно не помню, какие мысли тогда крутились в моей голове. Но помню, как завалился на кровать, даже не снимая ботинок, смотрел в белый потолок. Прежде всего, мне надо было понять, почему меня принимают за какого-то Ружейникова. Зачем им это надо? Кто они? Почему именно я?

Боли разыгрались, я сделал себе инъекцию и провалился в сон. Спал долго, снились какие-то неприятные сны, бредовые, страшные. Убегал из Вражьего от мертвецов, присутствовал на собственных похоронах, помню, снилось, как меня судили, слепой судья что-то сказал и начал стучать молотком. От стука я и проснулся.

В комнату вошла моя якобы жена. Вся заплаканная, хрупкая, уставшая. В иной ситуации моё сердце бы дрогнуло, даже учитывая, что я вижу эту женщину второй раз, но тогда я воспринял её приход достаточно холодно. Я знал, что она с ними заодно, она часть этой игры, она – враг. В руке у неё была какая-то шкатулка. И эта шкатулка – очередное хитроумное оружие, призванное доказать мне, что я не я. Ну не забавно ли?

– Илья... Как давно я тебя не видела...

– Ну да, никогда – это очень давно! Давнее не бывает!

– Что с тобой сделали эти наркотики... Ты что, совсем ничего не помнишь?

– Мне нечего помнить!

– А эти письма... Ты писал мне их из России... Вот посмотри...

Я открыл ящичек, взял самое верхнее письмо, и принялся читать, под её цикличные всхлипывания.

«Здравствуй, дорогая моя Анечка! Сколько мы не виделись? Я уже сбился со счёта, и пасмурные дождливые дни в этой суровой, хмурой, холодной стране смешались для меня в один безвылазный ком из паутины лжи и неоправданного насилия. Всё, что меня спасает, что заставляет прыгать с поездов в холодные реки и скрываться в камышах, оставляющих на руках тонкие порезы, это мысль о том, что ещё когда-нибудь я вернусь во Франкфурт, когда-нибудь я вновь увижу твои щёки, покрытые румянцем, твои глаза, так похожие на эти Русские озёра!

Путешествуя по Азии, ночуя в чужих домах, в избах, банях, лабазах – в бревенчатых теремах, я сделал много выводов о жизни. Однако же, пойми, я всего лишь небритый бродяга, забытый всеми, кроме тебя, моя Анечка, Ружейников, который осмелился сделать какие-то выводы о жизни, о любви, пускай неправильные, пускай размытые, но все же мне захотелось поделиться ими с тобой. В муках тоски, в ненависти к разделяющим нас границам, разделяющему нас государству, в ненависти к пространству я провел очень много времени, иной раз теряя человеческий облик, и решил подумать, нет, даже не подумать, попытаться выразить, наконец, что же такое любовь, что это за чувство?

Иной раз мне всё это казалось странным и нелепым. Привязанность к кому-то. Почему тебе важен кто-то? Почему кто-то безразличен, а кто-то западает в тебе душу? Может, ты сам себе всё это накручиваешь? Подобные вопросы терзали меня, и, получая один ответ, я получал также ещё три новых вопроса, забредал в метафизические дебри, листал пыльные томики запрещённых философских книжек, но ничего и не понял. Хотя нет, дорогая моя, кое-что я всё-таки понял. Понял, что подобные выводы ты можешь сделать только сам, и никакой философ тебе и вовек не поможет.

Холодные ночи у костра, твоё отражение в последних лучах на закате... Это был долгий путь, долгий путь, но к конечному выводу я так и не пришел. Что это за чувство, вообще – как его выразить? Вот как? Чувство привязанности? Простое желание физического близкого контакта? Опять я получал новые вопросы: а почему, если любишь кого-то, то счастлив будешь только тогда, когда этот человек будет рядом с тобой, будет делиться с тобой телом, а ты – с ним? Залезая в подобные метафизические дебри, я представлял всё бытие смешным, несуразным, нелепым. Неужели вся жизнь тогда крутится вокруг любви? Как так? Любой любви, любви к родине, из чего исходят все войны; любовь к удобствам, из-за которой человек всю жизнь пашет, как каторжный.

Разве это не забавно, милая моя, что любовь, по сути дела, движет этот мир? Но почему так? Почему высокое, тонкое чувство, как правило, принуждает человека на страдание, принуждает его идти через огонь, воду и медные трубы, которые вполне можно обойти?

Тут мне показалось странным, что то, что мы понимаем под любовью, называют любовью. Ось этого мира, то, вокруг чего крутится всё, названо каким-то не очень выразительным, не очень красивым, на мой взгляд, словом... Я понял, дорогая, что в основе всего лежит любовь. Даже в основе всех философских трудов лежит любовь к размышлениям, любовь к поиску себя, человек занимался делом, которое любил. Все изобретения... Изобретатель что-то изобретал, потому что любил своё дело...

И даже последний нигилист, отрицающий любовь, тем не менее, любит нигилизм. Помню, как засмеялся я, смотря на холодные звезды! Получается, существование есть любовь. И чувство это выразить нельзя было. Привязанность? Привязанность – это когда какой-нибудь пьяница каждый день ходит в один кабак. Зависимость? Это когда какой-нибудь народник в подполье перед каждым собранием балуется морфием.

Вообще как, как выразить это чувство? Я не мог, пытался, но у меня не получалось. Что такое любовь? Разве кто-нибудь сможет мне когда-нибудь объяснить? И тут, и тут, дорогая моя, я пришел к одному из своих самых гениальных выводов, да, да, говорю без тени иронии и гордости, но мысль, пришедшая мне в голову, была просто ошеломляющей. Я понял, почему любовь причиняет людям столько страданий. Никто не может выразить словами, что такое любовь, никто не знает, что такое любовь. Поэтому я понял: любить, не зная что такое любовь, это как ездить на автомобиле, при этом не умея водить.

Мои мысли, казалось, усложнялись, погружаясь в философские дебри, и вместе с тем моё понимание мира как-то становилось проще, я просто задавал себе простые вопросы, которые, дорогая моя, отчасти являлись ответами.

Я думаю, что любить человека можно просто. Любить за то, что он есть, за то, что он существует. Без эгоистичной уверенности, что он должен принадлежать тебе всегда, хотя это возможно и тяжело. Но ведь любовь – это не обладание, почему люди так и не додумались до этого, за много лет? Я люблю тебя, ты любишь меня, но мы не обладаем друг другом, нас сейчас разделяют тысячи километров, суровые люди с ружьями в шапках-ушанках и волнения в стране. Тем не менее, как бы ни тяжела была разлука, я всё-таки понял, научился переживать её...»

Бред, бред, бред! Какой же это был бред! Я не мог написать столь сентиментальной чернухи, с псевдофилософским уклоном, несмотря на необычайную тонкость и легкость моей души, которую можно было сравнить разве что с пером, подхваченным летним ветерком в жаркий июльский день.

– Нет, нет, нет, это не я. Я не мог это написать. Ты милая, очаровательная девушка, но я не видел тебя никогда, ты ошибаешься.

– Илья мой, Илья...

Она попыталась меня обнять, но я оттолкнул её, встал, достал с письменного стола карандаш, вырвал из какой-то случайной книги титульный лист и вывел своим кривым, неровным почерком пару слов: «Я НЕ ИЛЬЯ РУЖЕЙНИКОВ!!!», затем показал ей.

– Смотри, смотри, почерк абсолютно другой, не такой, как в этом письме!

– Илья, у тебя руки трясутся... Ты опять обколосся этой дрянью... Ты даже писать нормально не можешь... Я понимаю, у тебя боли...

– Боли тут не причём! Я, чёрт возьми, не Ружейников! Ужин! Моя фамилия – Ужин! Я не знаю, что за игру вы ведёте, но мне это надоело, чёрт бы вас всех побрал, ухожу, прямо сейчас, куда глаза глядят, пускай я умру, мне плевать, зато я умру собой, умру Николаем Ужиным!

Мне тогда уйти не удалось. Но удалось подышать свободой. Летали светлячки, мошкара сбивалась возле фонарей, где-то кто-то пел, в соседском саду люди собрались в тенистой роще, согреваясь вином, из чьего-то окна доносилась игра невидимого пианиста, луна висела над усадьбами, рошицами, а возле калитки стоял Митрофанов, какой-то растерянный, смотрящий себе под ноги. Рядом стоял Лев Давидович, хмурый, молчаливый и на этот раз смотрящий прямо на меня, прямо в глаза. И что-то такое было в его лице, что я спасовал.

Пару дней со мной никто не разговаривал. Иногда Лев Давидович, проходя мимо моей комнаты, когда была открыта дверь, цокал, замечая меня за очередной понюшкой, хмуро смотрел и шёл дальше. Иногда снизу доносились всхлипывания Ани, но больше всего меня беспокоило, когда прямо под моим окном Лев Давидович усаживался на белый стул, открывал какую-то книжку и сидел так часами, даже не перелистывая страниц. А рядом с ним сидел Митрофанов.

Впервые со мной заговорили вновь через три дня. Меня вырвал из блаженного небытия Лев Давидович. Он поставил на тумбочку рядом с кроватью новую баночку, полностью наполненную порошком.

– Я знаю, Ружейников, что вам нельзя, что вы и так всё забыли...

– Я ничего не забывал!

–...однако же, – продолжил Лев Давидович, как ни в чём не бывало, – я помню про ваши травмы, помню, как вы стонали по ночам, без своего порошка, помню ваши красные опухшие глаза. В общем, вот вам, только не злоупотребляйте, право же. Найдите меру. Вы так скурвитесь окончательно. Мёртвый Ружейников нам не нужен.

Естественно, я не мог отказаться от подобного подарка. Кое-что общее всё-таки было между мной – реально существующим Ужиным и мной – мифичным загадочным Ружейниковым. Действительно, я был травмирован во время первой мировой, каждый день у меня были сильнейшие хронические боли, вследствие чего у меня возникла наркотическая зависимость. Но не более того. Исходя из той сентиментальщины, Ружейников был полной противоположностью мне. После того письма, у меня сложился образ слащавого, сентиментального размазни. После этой мысли, помнится, я рассмеялся, потому что вдруг, впервые, подумал об этом мифическом Ружейникове как о реальном человеке.

В тот же день я впервые поужинал с ними. Голод не тётка, как говорилось в простонародье, да и после очередной понюшки мне жутко хотелось есть. За столом воцарилось молчание, потом Лев Давидович начал о чём-то рассказывать, Аня начала отвечать ему, сначала робко и неуверенно, но потом всё-таки приняла весёлый вид, разговорилась. Что-то шутила экономка, а затем подошла полноватая дама, которая, как оказалось, была женой Льва Давидовича. Она тоже смеялась. Лишь я и Митрофанов сохраняли угрюмое молчание. Я – потому что не доверял этим проходимцам, ну а почему всегда молчал Митрофанов – для меня было загадкой. Всё это напускное веселье казалось мне маскировкой, я отлично понимал, что передо мной сидят холодные лицемерные твари, потому и отказался от вина и ушел в свою комнату.

Так и проходили дни в усадьбе в Берне какое-то время. Я выходил из своей комнаты только чтобы поесть да сходить в уборную, большую часть своего времени лежал в морфийном опьянении на роскошной кровати, иногда смотря в потолок, иногда листая старые книжки, стараясь что-то разобрать в малознакомом мне немецком языке, а иногда просто смотря невероятно яркие, красочные сны.

Хотя на первый взгляд я был один, рядом постоянно кто-то крутился. Не знаю как, каким-нибудь шестым чувством или ещё чем, но постоянно я ощущал пристальное внимание Льва Давидовича, который даже если вроде как сидел в гостиной на первом этаже и читал



книжку, всё-таки каким-то невероятным образом наблюдал за мной. Иногда он сидел под моим окном, уставившись в одну и ту же точку, иногда мне казалось, что он даже не дышал. Тихой поступью проходила мимо, якобы делала уборку или ещё чёрт знает что, Аня. Постоянно где-то рядом что-нибудь убирала или подметала экономка, несмотря на то, что в доме и так была идеальная чистота, словно в музее. Меня окутала невидимая паутина, из которой потому и нельзя было выбраться, что она невидима. Рядом с Львом Давидовичем обязательно крутился Митрофанов. Лев Давидович не отпускал его от себя ни на шаг; пару раз мне в голову даже приходили непристойные мысли, что они даже спят друг с другом, до того они были неразлучны.

Если кто обращался ко мне, то обязательно надо было в начале, или в середине предложения назвать меня Ружейниковым, подчеркнуть, выделить какой-нибудь голосовой интонацией это ненавистное мне слово, непременно сказать, как я изменился, сказать, что делает со мной морфий, но, несмотря на всё это, Лев Давидович каждую субботу приносил мне новую баночку, а стоило мне спросить про прошлое Ружейникова, как тот начинал отнекиваться, уходить от ответа или в очередной раз повторял: «Ружейников, вас этот морфий совсем с ума свёл! Когда-нибудь я пресеку это дело!».

Но всё это были пустые угрозы, он каждую субботу вставал ещё до первых лучей солнца, уходил куда-то и в обед непременно возвращался с новой, сверкающей, стальной баночкой, забитой до самой крышки заветным белым порошочком, без которого я, увы, не мог жить. В какой-то момент у меня начали возникать смутные сомнения: а вдруг я и правда Ружейников, вдруг я выдумал Ужина? Вдруг все они правы? Вдруг это не игра? Где доказательства того, что они были?

Эти мысли я в срочном порядке гнал от себя прочь. Именно тогда я вспомнил про маленькую, потрёпанную, полустёртую фотографию, которая уже долго лежала в моём нагрудном кармане. Запершись в уборной, долго я рассматривал маленького себя, счастливого, с незамутнённым, кристально-чистым сознанием и понял, что человек идет не от низшего к высшему, а наоборот, как мусорный бак, наилучшее состояние которого было, когда он только что сошел с конвейера, чистый и пустой. Мне тогда показалось, что всё происходящее со мной снаружи носит такой же абсурдный характер, как и происходящее со мной внутри. Единственным доказательством моего существования была старенькая фотокарточка, и какая в этом была ирония, человеческое существование (да, не жизнь, а именно существование) целиком зависело от небольшого скомканного предмета с хаотическим набором маленьких цветowych пятен.

Враги начали что-то чувствовать, ещё упорнее крутились вокруг, вдруг начали лезть со своими разговорами (все, кроме Митрофанова, конечно же), всё чаще устраивали завтраки, обеды, ужины. Ужин мне, кстати, помогал больше всего, именно потому, что когда жена Льва Давидовича кричала на весь коридор – Ужииииин! – мне казалось, что она кричит мою настоящую фамилию, и слышал я её не от своего внутреннего голоса, а от другого человека.

Но я не поддавался. Ни разу не вступал с ними в дружеские беседы, не откликался на эту злостную фамилию «Ружейников», сохранял угрюмое молчание, стал чаще принимать морфин, назло им всем.

Через пару месяцев произошел переломный момент, событие, из-за которого, наверное, я и оказался в этой комнате с пляшущим пламенем свечи, как бы играющим с кромешной тьмой гнетущей. Однажды утром меня разбудил Лев Давидович.

– Ружейников, думаю, вам пора прогуляться.

– Что? Я никуда не пойду, отстаньте...

– Нет, все же, думаю, вам надо прогуляться. Вам нужен свежий воздух. Не вылечит душевно, так ведь физически полезно. Вы тут уже который месяц сидите! Пойдемте же, прогуляемся, я, вы, Митрофанов... Зайдем в ваш любимый ресторан.

– Любимый ресторан, в котором я ни разу не был?

– Опять вы за своё, Ружейников, ну сколько можно? Хватит. Одевайтесь, мы идем.

Уже наступила весна. Весна выдалась чудесной. Щебетали птички, всяческая живность кружилась вокруг, бегали дети. Город жил, город дышал, снующие толпы, притаившиеся в тени старички. Мы шли по большому проспекту, и в иной ситуации я бы, может, вдохнул жизнь, наслаждался своим существованием, но не сейчас. Всё-таки чудным местом был Берн, чудным. Но моё положение, трагикомичная пьеса, невольным актером которой я стал, – всё это превращало

окружающий мир в какое-то невыносимое сюрреалистическое полотно Босха, ужасное, пугающее. Это был ад, самый настоящий ад. Я уже умер, я мёртвый Ужин.

Не знаю, было ли это очередной насмешкой судьбы или же просто случайное совпадение, но в огромной смешанной массе из лиц и голов, кудрявых, красных, бледных, рыжих, загорелых, я выхватил вдруг знакомое мне лицо. Это был один из моих преподавателей. Таких людей не забываешь никогда. Высокий, худой, с выразительными острыми чертами лица, но даже не это делало его образ незабываемым. Его образ навсегда вбивали в память девять букв. А именно фамилия. Кто бы его ни встретил, все всегда будут помнить худого высокого мужчину с интересной фамилией – Утопающий.

Вот оно, доказательство моего существования! Нас разделяет лишь идущая непрерывным потоком толпа, но вот он, совсем рядом, живой, – человек, которого я знал, человек, у которого я учился. Человек, который поспособствовал моей мобилизации на фронт мировой войны. Сейчас я как никогда пропитался какой-то любовью и уважением к этому человеку, мне казалось, что только этот преклонных лет мужчина сможет помочь мне, подать мне руку, отогнать этих бесов. Вот он, помнит меня так же отчётливо, как я его, я буду не один, в этом кошмаре со мной будет ещё кто-то! Мне казалось, что стоит мне догнать его, схватить за плечо – и я буду спасён, он выхватит меня из этого кошмара, всё закончится. Полиция или медики непременно отправили бы меня в психиатрическую клинику, но он, он поймёт, он вспомнит.

Тогда же я вновь испытал то, что, как я думал уже никогда не смогу испытать. Я взял трость в руки и рванул вперёд, расталкивая окружающих. До того мне казалось, что я уже старый хромой калека, что никогда не смогу испытать радости пробежки, но всё-таки стремление к цели делает с человеком вещи поудивительней проделок Христа. Что-то вскрикнул Лев Давидович, ругались люди, которых я расталкивал, а я бежал, бежал, лишь бы успеть. Но, увы, я не успел. Высокая фигура зашла в трамвай, закрылись двери.

Я бежал, стараясь успеть, но стальной гигант нёсся быстрее машин и вскоре исчез за поворотом. Я со злости кинул свою трость куда-то на дорогу, пару гудков. Затем подбежал Митрофанов, схватил меня за полу пиджака и вдруг засунул руку во внутренний карман. Я убрал его руку, подбежал Лев Давидович, которого я успел ударить по лицу, а затем хромота дала о себе знать, я повалился увальнем, и последнее моё воспоминание об этом дне – это хватающий меня за плечи Лев Давидович, его напряжённое лицо с синяком и отдаленные крики: «Ружейников!!! Ружейников!!! Вы меня слышите? Не отключайтесь, Ружейников!!!».

Свобода была так близко, прежняя жизнь была так близко, Ужин, живой Ужин был так близко, так близко... самое интересное я обнаружил следующим утром, когда очнулся и тут же скорчился от ужасной боли, которая началась с тяжести в области висков. На столе стояла всё та же заветная баночка морфия, и я быстро встал, взял со столика свою сумочку, в которой хранились шприцы, через несколько минут уже сделал себе добрую инъекцию, а затем завалился назад, в ожидании того сладостного момента, когда тяжкий груз боли начнёт отступать.

Я вышел из комнаты и пошёл в уборную, чтобы умыться. Снизу на меня бросил неодобрительный взгляд Лев Давидович, на кухне отстранённо пил кофе Митрофанов, в доме было тихо и спокойно, почти все куда-то ушли. Зайдя в ванную, я обнаружил интересную находку. Во внутреннем кармане моего пиджака была скомканная записка. Интересно, интересно, продолжение игры? В тусклом свете свечи читать было неудобно, но содержание письма было очень и очень интересным, причем, огромный интерес вызывало уже первое слово:

«Ужин...»

И в письме говорилось не о последнем приёме пищи в конце дня, нет, это было обращение, обращение ко мне.

«...после прочтения непременно сожгите это письмо. Я написал его, когда ждал вас в полном одиночестве у старой лодки, в Петрограде. Я передам вам его при первом же возможном случае. К сожалению, я не могу сейчас просто уйти, меня все равно найдут. От них не уйти. Времени мало, прислушиваюсь к каждому шагу, письмо моё может оборваться в любой момент, как только я замечу, как вы с Львом Давидовичем идёте

Вам сложно помочь. Из этой ситуации, наверное, нет, и не будет выхода, но главное, постоянно вспоминайте себя, вспоминайте своё прошлое, вспоминайте своё ощущение, не дайте им победить.

Это ад, Ужин, слышите, это ад. Помните себя, вспоминайте.

Вспоминайте себя, Ужин. Вспоминайте свою жизнь. Начните прямо сейчас. Вспоминайте перед сном, вспоминайте перед любым удобным случаем. Это единственная возможность»

И вот я оказался здесь. Вспомнил все важные и переломные моменты моей жизни. Что же делать дальше? Быть или не быть?

Письмо было сожжено. Но текст я запомнил наизусть, с первого прочтения. Сомнений не было, записку мне оставил Митрофанов. Так он не враг, не враг, чёрт возьми! Он в таком же положении, как и я. Просто он сдался, он решил отыграть роль.

Когда я вышел из уборной, наши глаза встретились. Во взгляде Митрофанова что-то проскользнуло тогда на миг, но мгновенно исчезло, едва к нам подошёл Лев Давидович.

\*\*\*

Как ни странно, но моя жизнь теперь целиком зависела от хранящейся в нагрудном кармане мятой бумажки, где был запечатлен я в пору своей юности. Но теперь возникли сомнения: а может и рубашку подкинули? И это письмо? Может это все тоже часть хитро спланированного плана, может, всё-таки Митрофанов был за них, и это просто гениальный ход?

Такие вопросы одолевали меня, сомнения. И я был один, полностью один. Самое плохое, когда ты сходишь с ума, это то, что никто тебе не может помочь. Да и вообще любой недуг ты переживешь один. Другие сочувствуют тебе, жалеют тебя, переживают, но это не они лежат в бреду, корчатся от боли и выплёвывают куски легких. Даже если ты дорог им, и вокруг твоей кровати выстроилась целая церемония, умираешь ты один, потому что это ТЫ умираешь. Человек сам борется с недугом. Да вообще со всем. Человек один в этой жизни.

Подобные выводы пришли ко мне уже к вечеру, после очередной инъекции, когда я посмотрел на разбросанные в хаотичном порядке лучи заката. Гнетущий мрак экзистенции начинал овладевать мною. Начались бредовые сны. В этих снах события, происходящие со мной как с Ужиным, передавались в искаженном варианте. Они были сюрреалистичны, фантазмагоричны, ещё более абсурдны, чем обычные сны.

Мне снился сон, как я опять вернулся во Вражье. Вокруг слышались голоса, но никого не было видно. Я зашел в нашу калитку и заметил, что на пороге стоит моя мёртвая тётка. Недолго видел, совсем чуть-чуть, потом ей снесло голову. Что-то во мне переключилось, я тут же приступил к бегству, но ноги заплетались, пару шагов казались недостижимым расстоянием, которое сложно пройти, поэтому она быстро нагнала меня, а затем сон развеялся, но я увидел её, стоящую рядом с моей кроватью. В моей новой комнате, в усадьбе в Берне, ночью. Мой пронзительный крик тогда разбудил всех.

Все что мне оставалось, это слушать, как меня называют Ружейников, каким я был славным человеком, как меня испортили наркотики и, стараясь пропускать все это мимо ушей, вспоминать, вспоминать, вспоминать.

\*\*\*

Всё, что мне оставалось, это слушать, как меня называют Ружейников, каким я был славным человеком, как меня испортили наркотики и, стараясь пропускать все это мимо ушей вспоминать, вспоминать, вспоминать. Я пытался выйти на контакт с Митрофановым, но это было невозможно. Лев Давидович постоянно крутился рядом, а при нём говорить с Митрофановым – это подвергать риску не только себя и его.

Но я внял его совету, и часто вспоминаю всю свою историю. Стараюсь воспроизвести свою жизнь точно, не искажая никаких деталей, вспоминая как можно больше мелочей.

Я вспоминал войну. Там, на войне, между тобой и случайным солдатом, упавшим рядом с тобой, чтобы перезарядить винтовку, возникала какая-то крепкая ментальная связь. Не было той вражды, лжи, лицемерия и всех тех вещей, которые становятся неизменными атрибутами общения в высшем обществе. В один момент мне стало неприятно вспоминать все это. Кровь, грязь, неоправданная жестокость. Всё это было зря.

Я попытался вспомнить, любил ли я кого-нибудь. И понял страшную вещь: всю жизнь я был настолько заиклен на себе и своих проблемах, что вся моя любовь была целиком направлена только на меня. Я так погряз в жалости к себе и самолюбовании, что любви для кого-то другого у меня уже не было.

Я мало с кем сблизился, большую часть жизни провел в одиночестве, которое сначала не признавал, потом полюбил. Женщин у меня в жизни не было. Никаких головокружительных любовных интриг, трагических разрывов, никаких стояний у дождливого окна, никаких подпольных дуэлей из-за ревности, совсем ничего. Пустая пустота.

Много знакомых, мало друзей. Я не мог вспомнить что-то действительно головокружительное, кроме самого детства во Вражьем. Войну вспоминать было неприятно, тяжело. А все остальное – сплошной серый ком из случайно возникающих, само собой разумеющихся событий, ни хороших, ни плохих, просто происходящих и всё. Именно тут сомнения достигли своего апогея.

В этот момент Ужин начал конкретно сомневаться в том, что он существовал именно как Ужин. Ему начало казаться, что действительно, вполне возможно, что он как раз таки загадочный Ружейников, который просто сходит с ума от чрезмерного употребления морфия. А записка? Записка от Митрофанова? Ну, учитывая тот факт, что Ужин её сжег после прочтения, это вполне могло быть наркотическим бредом. Да что там, это могло бы быть таким же выдуманным воспоминанием, как и война, как Вражье.

Просматривая фотографию, Ужин всё же делал попытки что-то вспомнить, восстановить, найти какую-то тонкую связь между воспоминаниями и реальностью, но иногда доходил до такого, что вообще сомневался в том, что мир не был придуман и создан сегодня утром, после его пробуждения. Да ещё и наркотики делали свое дело. Ужин больше не мог без морфия, у него начиналась ломка, разыгрывались боли.

В короткие моменты просветления, казалось бы, почти мёртвый Ужин вдруг оживал, начинал отчаянно бороться, убеждал себя, что всё это бред, что нельзя сдаваться, что он должен оставаться собой, просто оставаться собой. Но кто же знал, что нет ничего сложнее, чем оставаться собой? Долго это продолжаться не могло. Ужин в один день подумал: «А зачем мне нужна эта борьба? Зачем мне быть собой, зачем каждый день ходить по ножам, ради простого, никому не нужного осознания того, что ты есть ты? А может и Ужин не я, и Ружейников, может, меня и вообще нет. Я уже не тот, что месяц назад, год, неделю. Мне кажется, что моего я вообще нет и никогда не было. Мёртвый Ужин ничем не отличается от того же Ружейникова. Ты тот, кем себя ощущаешь. Ужин умер. Ужин мёртв...»

Безмянный встал с кровати, сделал себе инъекцию и отправился в уборную. Перед тем как уйти, он повернулся, осмотрел свою комнату и заметил лежащие на столе книги о Восточно-Прусской операции и Гумбинен-Гольдапском сражении.

В уборной он достал из нагрудного кармана фотографию и аккуратно поднес уголок к огоньку свечи. Едкий запах наполнил комнату. Так могло пахнуть только умершее его, пару десятков лет жизни, которые, может, даже и были кем-то прожиты на самом деле, воспоминания, чувства, переживания, мысли человека. Всё, что он хранил за хмурым лицом, всё, что скрывалось под хмурым лицом, все, что было изолировано от окружающего мира в черепной коробке. Всё закончилось. Ужина убили.

Я вышел из уборной и понял, что первым делом надо найти Анечку. Она, как всегда сидела у себя в комнате, с томиком стихотворений, немного грустная, немного задумчивая, тонкая и трагичная, как оригами, плывущее по реке. Я подошёл, нежно взял у неё томик из руки, положил его на кровать, обнял её и поцеловал в лоб. Она заплакала.

– Ну не плачь. Я брошу, я обязательно брошу... – прошептал я.

